

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

Март-Апрель



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1942



МАРТ—АПРЕЛЬ

Рассказ

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевки у костра, свободно болтался на похудевшем капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул на парашюте в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в забухших водой валенках было очень тяжело. Первое время он шел только ночью. Днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

«Выполнил задание!» Как это просто сейчас звучит. Сколько килограммов живого веса потерял он за этот рейд, а в теле его никогда не было лишней унции жира.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке из-под тола и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к достойному и мужественному спутнику.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на

шоссе. Кстати, тогда удастся переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше плохое положение. И, как говорится, «вошь брюха заглушает в вас полосу рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то прешься, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расхолодилось с мнением товарищей. Капитана в отряде считали человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов, а, наоборот, старался очень ловко затупить их осласность; тогда красноречие просыпалось в нем.

Перед самым вылетом он иногда высаживал из самолета человека.

— Трус, — кричал он, — мне таких не надо! — и захлопывал дверцы люка.

Возвращаясь после задания, капитан старался избежать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у ежа, — и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке, к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья

шоссе. Кстати, тогда удастся переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше плохое положение. И, как говорится, вошь брюха заглушает в вас полосу рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то трепись, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжи, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расхлесталось с мнением товарищей. Капитана в отряде считали человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов, а, наоборот, старался очень ловко запугать их опасностями; тогда красноречие просыталось в нем.

Перед самым вылетом он иногда высаживал из самолета человека.

— Трус,— кричал он,— мне таких не надо! — и хлопывал дверцы люка.

Возвращаясь после задания, капитан старался избежать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у ежа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке, к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем,— скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его с мя-

была уничтожена немцами. Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебная суп и держа перед глазами письмо, он собирал:

— Жена пишет.

Все переглянувшись, многие — разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюди-мый, что его постигло несчастье. А несчастья ника-кого не было.

А потом капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него так же, как на иных действует звук лезвия ножа по стеклу.

Голый и мокрый лес. Толстая почва, ямы, заполнен-ные прязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одно-кому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем забро-шеннее и забытее глядела земля, тем поступь капита-тана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан време-нами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообра-щение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохот-ному водопаду, стекающему с ледяной бахромы отвеса, и стал пить воду, ощущая пошнотный, прес-ный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, пить только для того, чтобы за-полнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Толстые тени ложались на толстый и мок-рый снег. Стало холодно. Луки застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветви обмерза-ли; когда он отводил их рукой, они звенели. И, как им пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосуль-ки и ледяные луки, отражая лунный свет, горели

холодным огнем, как шпалстры на колоннах станции метро «Дворец Советов».

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и орать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?»

Капитан шел в чаще, озаренный ярким светом, валежки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные туфбы.

Он заился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлялся бы, если радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его металлически щелкнул оттянутый ствол пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шопотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шашку — тогда выстрел будет глухой, тихий. А, кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы слышал сосед и, в случае чего, пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся. Пароль прознес он одними губами; когда получил отзыв, кивнул головой и, спустив предохранитель, сунул в карман синий «Зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты, что же, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Дазай, показывай, где тут твоё помещение!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу

— Зачем ползти, в лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан хмыкнул и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Еще не задумываясь, он спросил:

— Ты, что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, куда прыгали. У меня валенок и слетел, еще в воздухе.

— Хорош. — И добавил: — Выбрався теперь с тобою отсюда.

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собирался отсюда уходить. Оставьте провиант, и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Запеленговали немцы радию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя, лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну, ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по локти в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорила.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза, неприятная не потому, что видеть такие глаза противно; напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших

зрочков, они были очень хороши. Но плохо в них то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их на воротник шинели!

Сколько раз говорил ей капитан:

— Подберите ваши космы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно: оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни, — и неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату пыжачих лишних кружочков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую... — и капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые, остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель, — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный подвыходной день в солидном наркоматском подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копошилось в небе своими негнущимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной с поджатыми ногами и книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленном на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, узкие и белые, все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной, чтобы не скользила рука.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Опять раздражающее негодование появлялось в нем. Этот сильный человек, с красным сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестоким и требовательным и к себе самому.

Немецкие саперы заминировали проселочные дороги, впадавшие в магистраль. Он застрелил ночью регуляровщика из малокалиберного пистолета, бьющего почти бесшумно, и, вооружившись фонарем регуляровщика, стал на шоссе.

Он пропускал мимо себя машины, сигналив зеленым и красным светом. Когда появилась танковая колонна, он красным огнем предупредил ей путь по магистрали и открыл зеленым путь на проселочную, заминированную дорогу.

Обнаружив штабной кабель, он перерезал его и стал ждать. Связист пришел не один. Его сопровождали солдаты с автоматами. Устранив повреждение, связист ушел. Тогда капитан содрал изоляцию с кабеля и положил его на землю. Расчет оказался верным. Обнаружив плохую слышимость, связист вернулся один. Капитан заволок связиста. Смотав кабель, он бросил его в кошну сена и поджег.

Забравшись на перекрытие немецкого блиндажа, он открыл подсумок и стал горстями сыпать в дымоходную трубу блиндажа патроны. Выскочивших из укрытия немцев он перестрелял из автомата.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка. Их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан стыдился своего горя. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищей. Он сказал себе: жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно. И он не был мелким человеком. Он презирал смерть. Всю свою жизненную силу он сосредоточил на чувстве мести. Таких людей, с обогранным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили твое сердце! И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длительным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как пшпгат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в остекленную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, хлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы ходите с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом..

— Знаете,— сказал капитан,— договоримся с самого начала — меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не пищите,— сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую и обтянутую тляцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Вонючий носок лучше?

— Он не вонючий, он чистый.

— Знаете,— снова повторил капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастеровил там, орудуя ножом с ручкой, обтянутой резиной. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы котите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно,— согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?

— Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней..

— Понятно,— сказал капитан,— другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь, — и капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, оттапливаясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что, казалось, застревало в глотке.

«Если я ей скажу, что ни к чорту не гожусь, она запаникует. Если дальше буду хребриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

— У вас есть водка?

— Ладно, — сказал капитан, — сидите. Водки я вам все равно не дам.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер банку из-под тола, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпигесь, — сказал капитан. — А пока — не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить палкой старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а гусь, — сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо, — и съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собою лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постлал на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыла, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроюсь мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется и вообще...

— Вы спать хотите, ну, и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе месяце капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрели его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели. Перед отправкой в тыл раненых осматривала комиссия. Капитана вместе с группой симулянтов приговорили к расстрелу. Казнь была отменена в последний момент. Их посадили на транспортные самолеты и отправили под Ельню. Здесь их погнала на русских в «психическую» атаку, выставив сзади роту автоматчиков. Капитан был ранен своими же. Его подобрала, и он пролежал еще две недели в нашем госпитале.

Чтобы прекратить разговор, он спросил грубо и настойчиво:

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан впрягся в санки и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащив нож.

— Знаете, — сказала девушка приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.

Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы, — сказал капитан, — жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там. А вы оставайтесь.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уж как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей, — сказал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет на коленях. Увидев капитана, она улынулась и встала.

— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил курсантам, встававшим при его появлении. Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что?— спросила девушка.

— Ничего,— сказал капитан,— ловко очень устроили.— Потом серьезно спросил:— У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться?— обрадовалась девушка.

— Точно,— согласился капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цыгарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что,— сказал он глухо.— Приемник я забираю и иду туда,— он махнул рукой и пояснил:— чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите какую-нибудь жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо,— сказала Михайлова.— Только рацию вы не получите.

— Ну, ну,— сказал капитан,— это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения,— буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес:— А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать вы у меня не имеете права.

— Да поймите же вы,—вспылил капитан.

— Я понимаю,—спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной.— И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала:— Вот вы горячитесь и лезете не в свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, грубое, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте, действуйте,— и, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал:— Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за ляжки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свидания, капитан!

— Валите, валите,— буркнул тот и пошел к реке.

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

И вот, если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение; свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обратила бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в тряси, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

- А если вас убьют?
- Не всех же убивают.
- А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала.

- Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

- Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

- Папа, - звонко сказала она, - папа, ну, ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

- Я понимаю, - сказал отец, - ну, что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

- Папа, - крикнула тогда она, - папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

- Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на зачетах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только количество знаков передачи, но и ее грамотность. Но капитан был прав. Оставшись одна в лесу, в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивлялась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла своих глаз. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях тер-

мометр, так как ее дочь не любила класть его подмышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шопотом расстроено говорила: «Она больна». А отец укутывал звонок телефона в бумажку, чтобы его звук не тревожил дочь. А вот, если немцы успеют быстро запеленговать станцию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. А ведь на ней меховой комбинезон. Немцы, наверно, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя толой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть солдаты отвратительными глазами.

А этот лес так похож на рошу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвешан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили: «Ты чего так расфуфырилась?»

— Подумаешь, — сказала она, — почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озирается, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну, и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну, и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлопала лужи. Гнилой снег лежал в ов-

рагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку. Не было сил отползти на сухое место.

И снова ползла — с упорством раненого, который ползет к пункту медпомощи, чтобы там остановили кровь, дали пить, где он найдет блаженный покой и другие будут заботиться о нем.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полужакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты, сидя на своих сиденьях, и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох сухого осеннего листа, этот звук стал поводом огромных стальных кораблей.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут брошены туда, куда указывает этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль была в спине, в висках, тискала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Когда она подносила руку к губам, они были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это неважно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наущ-

никах звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не кашитан. Разве у него рука будет сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке и, может, мне дали бы полушубок... там горит печь... и все было бы иначе. А теперь уже больше никогда ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно — потому и не так страшно... Скорее бы только. Ну, что они, в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всклигнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие. Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась. — Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться. Гудение кораблей все приближалось.

Застучали зенитки.

— Ага, не нравятся?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Из всех сил она стучала по ключу, словно не сигналам, а крик «Бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ажнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней, в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив

глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман волея бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги... Она их не чувствовала совсем. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину, немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы самого страшного.

— Нет, — вдруг сказала она. — С другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

Где-то ворчал автомобильный мотор и белые, холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

— Идут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы держали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Итти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как смели полозья саней по грязи. Потом она увидела капитана. Он сидел на шее и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою

голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну, как?

— Никак, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше нигде не могу. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбулся и свалился с пня на землю. Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бес- сильное тело на сани. Он лежал неудобно лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, штыясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Как это может еще продолжаться? Почему она сползла, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с закрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани и, держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала шипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукой,

подвешенной к труди и зажатой между двумя острыми обломками доски и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла свою руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сказал капитан. — И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмеянулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли приступить. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А, во-вторых, вас запыленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень подходящая девушка, — и тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него поблгровели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Каштан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— Ну уж если так, тогда другое дело.

• • •

Когда каштан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разгорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто незначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице каштана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Подходящая девушка, ничего не скажешь, — и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

Тираж 1.000.000. Издательство «ПРАВДА». Цена 15 коп.

А61676. Подписано к печати 15/X—42 г. Заказ 2708.

Типогр. гав. «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.